

ХАБУРГАЕВ Г. А.

К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА ПАЛЕОСЛАВИСТИКИ

Известная условность научных терминов обычно связывается с произвольностью языкового знака. Между тем о произвольности знака можно рассуждать, пока мы имеем дело с первичными номинациями языка как средства повседневного («живого») общения, но не с системой письменно-литературного языка, создание которого сопровождается с о з н а т е л ь н ы м отбором лексики, вводимой в него из родного языка, заимствуемой из других языков и даже создаваемой самими носителями литературного языка (см. [1, с. 35—38]). Тем более это относится к научной терминологии, «условность» которой существенно ограничивается необходимостью дифференцировать исследуемые объекты действительности, что и оказывается предметом возникающих время от времени терминологических дискуссий: термин, отражая в известной степени уровень авторского понимания объекта, сказывается на адекватности его описания, в конечном счете — на содержательности и научной ценности выводов. Об этом напоминает нам изданная недавно книга известного палеославииста Р. М. Цейтлин «Лексика древнеболгарских рукописей X — XI вв.» (София, 1986, 355 с.; далее — ЛДБР), терминологически объединяющая разные объекты языкового познания, которым именно в силу терминологической нерасчлененности приписываются не свойственные им признаки. Последствия допускаемой автором терминологической нерасчлененности требуют самого серьезного обсуждения в интересах поступательного движения палеославистических исследований.

На титульном листе новой книги Р. М. Цейтлин не указано, что она является переизданием монографии «Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X—XI вв.» (М., 1977; далее — ЛСЯ); но в предисловии отмечается, что «данная работа непосредственно связана» с предшествующей книгой автора. «В одних разделах она является сокращенным вариантом названной книги, в других — развитием и уточнением ее положений» (ЛДБР, с. 7). Знакомство с книгой обнаруживает, что «развитие и уточнение» главным образом затронуло терминологическое обозначение описываемого Р. М. Цейтлин объекта, который в новой книге представлен таким образом, что это не может не вызвать самого решительного возражения со стороны читателя-палеославииста.

В самом деле. В первом издании утверждалось, что «17 древнеболгарских рукописей» (ДР) (ЛСЯ, с. 3) использованы автором в качестве прямых источников изучения лексики старославянского языка — «письменного (литературного) языка, которым (в частности? — Х. Г.) владели книжники культурных центров Юго-Западной (Македонской) и Восточной Болгарии X—XI вв.» (ЛСЯ, с. 285; то же на с. 12 как де-

финиция старославянского языка), и что анализ этих рукописей «позволил установить число известных нам с т [а р о] с л [а в я н с к и х] слов (около 10 000)» (ЛСЯ, с. 285, разрядка наша.— Х. Г.). Теперь же оказывается, что т о т ж е круг «прямых источников (ДР) позволил установить число известных нам д р [е в н е] б о л г [а р с к и х] слов (около 10 000)» (ЛДБР, с. 286, разрядка наша.— Х. Г.).

Тем более обескураживают «уточнения», связанные с характеристикой выявленных автором особенностей словарного состава исследованных памятников (именно так, хотя во втором издании — в отличие от первого — Р. М. Цейтлин и избегает этого термина, связываемого с понятием «текст определенного содержания», используя для обозначения своих источников термин «рукопись», подчеркивающий обращение к определенному с п и с к у,— см. ЛДБР, с. 10). Из первого издания мы узнали, что «для СЯ (старославянского языка.— Х. Г.) в целом, а не только для языка СП (старославянских памятников.— Х. Г.) типично употребление значительного числа дублетов (в том числе и вариантов) различного характера» (ЛСЯ, с. 285), и что «для СЯ (старославянского! — Х. Г.) характерно увеличение объема слова: многие бессуффиксальные и простые (несложные) на уровне СЯ лексемы постепенно уступают место суффиксальным и сложным словам» (ЛСЯ, с. 286), при этом «многие из производных слов являются неологизмами СЯ» [с т а р о с л а в я н с к о г о языка] (с. 287), а точнее все же — церковнославянского (см. [2, с. 5—10]). Эти (и другие) выводы в свое время получили поддержку рецензентов, поскольку автору и в самом деле удалось «выделить такие особенности лексики СЯ, которые характерны для этого языка в целом, являются о б щ е с т а р о с л а в я н с к и м и» (ЛСЯ, с. 287, разрядка наша.— Х. Г.). И вот теперь «уточняется», что н е д л я старославянского, а «для ДЯ (древнеболгарского языка.— Х. Г.) этого времени в целом, а не только для болг[арских] рукописей X—XI вв. типично употребление значительного числа слов-дублетов (в том числе и слов-вариантов) различного характера» (ЛДБР, с. 286), и что именно для него «характерно увеличение объема слова как свойство определенной категории неологизмов ДЯ. Многие бессуффиксальные и простые (несложные) на уровне ДЯ лексемы постепенно уступают место суффиксальным и сложным словам» (ЛДБР, с. 287). И самое поразительное, что все эти особенности, как теперь утверждается, «характерны для ДЯ этого периода в целом, являются общераспространенными» (ЛДБР, с. 289) — в каком смысле? Ведь не может же всерьез идти речь об «общераспространенности» в древнеболгарских говорах (?) многоморфемной лексики отвлеченной семантики, которая в 1977 г. характеризовалась как «общестарославянская»!

Итак, сопоставление двух текстов показывает, что «уточнение положений» первого издания в новом издании выразилось в п е р е н е с е н и и лексикологических и историко-словообразовательных выводов со старославянского языка на древнеболгарский, который ранее не смешивался со старославянским [см. в ЛСЯ с. 13: «Мы не принимаем наименование для СЯ „древнеболгарский“, так как последнее дает прежде всего л о к а л ь н о - э т н и ч е с к у ю характеристику этого языка, снимая его определяющую функциональную особенность как первого письменно-литературного языка раннефеодальной эпохи общеславянского распространения и значения, сыгравшего первостепенную роль в истории культуры (не только письменности) всех славянских народов без исключения» (разрядка наша.— Х. Г.)], а теперь, приобретая все признаки «письменно-

литературного языка раннефеодальной эпохи общеславянского распространения и значения» (ЛСЯ, с. 13), рассматривается вместе с тем и как определенный этап истории собственно болгарского языка (ср.: «...Мы изучаем только один из периодов истории болгарского языка, а именно — язык X—XI вв.» — ЛДБР, с. 11).

Конечно, «ДЯ X—XI вв., т. е. того периода в истории болгарского (! — X. Г.) языка, от которого до нас дошли наиболее ранние письменные источники, — чрезвычайно важный этап в истории болгарского языка. Его тщательное и детальное исследование на всех языковых уровнях должно послужить надежной основой... для объяснения кардинальных процессов последующей истории болгарского языка» (ЛДБР, с. 13). Но если под «болгарским» понимать язык болгарского народа (а я не могу представить себе иного понимания!), то изучение его истории по данным старейших памятников письменности должно осуществляться не теми методами, которые позволили Р. М. Цейтлин прийти к выводам о специфике словаря общеславянского литературного языка эпохи средневековья; оно, в частности, требует широкого привлечения данных болгарской диалектологии и лингвогеографии, чего в книге нет и не может быть, потому что, заменив термин «старославянский» прежде отвергавшимся ею термином «древнеболгарский», Р. М. Цейтлин описывает тот же самый объект (ср. цитированные выше формулировки из ЛДБР и ЛСЯ) — систему средневекового общеславянского книжно-литературного языка, декларативно подключая к нему онтологически иной объект — средство общения болгарского народа, который требует иных историко-лингвистических характеристик и иных методов исследования (ср. [1, с. 35—36])¹. В результате терминологического отождествления письменно-литературного языка с народно-разговорным задачи и перспективы изучения собственно болгарского языка оказываются искаженными², а генезис и дальнейшая история реально исследуемого в ЛДБР объекта приобретают, по формулировкам самого автора, «локально-этническую» окраску, за ту же выводящую «его определяющую функциональную особенность как первого письменно-литературного языка раннефеодальной эпохи общеславянского распространения и значения...» (ЛСЯ, с. 13). Более того, как можно понять из заключительного тезиса на с. 34 ЛДБР (отсутствующего в ЛСЯ), Р. М. Цейтлин теперь выступает против понимания «первого письменно-литературного языка славян как некоего искусственного языка без определенных этнических и ареальных признаков».

Нельзя не отметить, что предпосылки отождествления общеславянского средневекового книжно-литературного языка с древнеболгарским содержались уже в первом издании монографии Р. М. Цейтлин, где изучение лексики старославянского языка было ограничено показаниями 17 древнеболгарских рукописей (см. ЛСЯ, с. 3). Сводя споры о содержании по-

¹ По существу и во 2-м издании автор отказывается от материала древнеболгарских граффити IX—XI вв. (см. ЛДБР, с. 9—10), хотя и не воспроизводит здесь мотивировку своего решения, сводящуюся к тому, что граффити «более связаны с историей живого болгарского языка своего времени, нежели с историей СЯ как первого письменно-литературного языка общеславянского значения» (ЛСЯ, с. 13).

² Еще в начале нашего столетия Ф. де Соссюр заметил, что «литературный язык, подчиняющийся иным условиям существования, нежели народный язык (то есть язык естественный), наславается на этот последний и за с л о н я е т его от нас» [3, с. 173] (разрядка наша. — X. Г.). Именно это и происходит с изучением старейшего этапа истории болгарского языка, что, впрочем, требует особого разговора.

нения старославянского языка к определению «состава письменных памятников для изучения этого языка» (ЛСЯ, с. 9), автор настаивает на том, что к числу старославянских не относятся «рукописи X—XI вв. и более поздние, если они не принадлежат к древнеболгарскому изводу. Их мы называем церковнославянскими» (ЛСЯ, с. 14). Между тем уже в «Тезисах» Пражского лингвистического кружка подчеркивалось, что «нет никаких оснований считать истинно старославянской лишь какую-то одну из этих (представленных в памятниках X—XII вв. — Х. Г.) редакций, а остальные рассматривать как отклонение от нормы» [4, с. 33]. А в 1952 г. В. Н. Сидоров в предисловии к русскому переводу известной книги А. Вайана разъяснял: «Если признавать, согласно А. Вайану, церковнославянским языком такую разновидность старославянского языка, которая сложилась путем видоизменения старой основы на местной диалектной почве, то придется считать церковнославянскими языками, подобно моравскому и русскому церковнославянским языкам, и древнемакедонский и древнеболгарский диалекты старославянского языка» [5].

Если автор действительно ставит себе целью изучить «лексику литературного общеславянского языка только X—XI вв. по данным его рукописей» (ЛСЯ, с. 14), то исключение Киевского миссала из числа прямых источников «литературного общеславянского языка» X—XI вв. не оправдано никакими рассуждениями, включая ссылки на прецеденты (см. с. 14—15); а вопрос о «поддельности» этого старейшего из сохранившихся древнеславянских текстов после превосходного издания В. В. Нимчука [6] вообще должен быть снят. И если в число старославянских (!) включается перенасыщенный восточноболгарскими диалектными особенностями Енинский апостол (и подобные ему рукописи), то исключение из «канона» достаточно строгого по языку Остромирова евангелия 1056—1057 гг. (текста более раннего, чем некоторые рукописи, «признаваемые» Р. М. Цейтлин, — ср. [7]), менее заметно отражающего местные (восточнославянские) особенности, чем тот же Енинский апостол, оказывается необъяснимым, ибо этот памятник (как, впрочем, и другие восточнославянские рукописи XI в.) без оговорок представляет «литературный общеславянский язык только X—XI вв. по данным его рукописей».

Проблема отграничения церковнославянского от старославянского — это, конечно, не проблема источников, а проблема того прецедента в истории древнеславянского литературного языка, который определил возможность творческого отношения средневековых книжников к языку христианской литературы. Таким эпохальным событием в истории раннеславянской письменной культуры явилось в в е д е н и е к и р и л л и ц ы (в современном значении этого термина), сложившейся в результате «устроения» (по образцу глаголицы) греческого письма, употреблявшегося в восточной Болгарии вплоть до решения Преславского собора 893 г. (именно против использования греческой графической системы в славянских книгах, как это явствует из известного сочинения черноризца Храбра, возражали появившиеся в Болгарии в 886 или 887 г. последователи солунских братьев, принесшие с собою специально созданную для записи славянской речи азбуку «Константина Философа, нарицаемого Кириллом»). Официальное признание кириллицы³ (долгое время сосу-

³ Н. С. Трубецкой остроумно заметил, что новый славянский алфавит, созданный «на основе греческого заглавного письма с добавлением некоторых букв глаголицы», лишь «по недоразумению принято называть „кириллицей“, хотя лучше было бы называть его „симеоницей“» 8, с. 62].

ществовавшей с глаголицей — ср. ЛДБР, с. 72) открывало возможности приспособления языка христианских книг к местным культурно-языковым условиям (иначе говоря, положило начало формированию местных изводов церковнославянского языка), что и отражено сохранившимися славянскими рукописями конца X—XI вв., в том числе и древнеболгарскими (хотя в глаголических евангельских кодексах местные черты проявляются значительно слабее, чем в кириллических рукописях, — см. ЛДБР, с. 71—72, ср. еще с. 292—294). Во всяком случае, наблюдения Р. М. Цейтлин не дают оснований для пересмотра утверждения, что «древнеболгарско-церковнославянский» язык «представляет из себя основательную переработку староцерковнославянского языка, предпринятую в старом Болгарском царстве» при Симеоне и его преемниках [8, с. 61].

В первом издании ограничение «прямых источников» изучения лексики старославянского языка «древнеболгарскими рукописями» оправдывалось... древнеболгарской диалектной основой старославянского языка (ЛСЯ, с. 13). В ЛДБР уточняется, что первый письменно-литературный язык славян был создан Кириллом и Мефодием во 2-й половине IX в. «на основе солунского говора болгарского языка» (с. 11), что и дает автору повод рассматривать его как этап в истории болгарского языка (см. выше). Поскольку подобное мнение в славистической литературе последних лет высказывается не впервые, на нем необходимо остановиться.

Уже Ф. де Соссюр обратил внимание на то, что отнесение тех или иных смежных диалектов к одному или разным языкам-идиомам — проблема социально-историческая, а не структурно-лингвистическая [3, с. 237—240]: по признакам языковой структуры «не представляется возможным провести демаркационную линию между языками голландским и немецким, между французским и итальянским» [с. 239], как и между русским и белорусским и т. п. Определяя тот или иной диалект как русский, белорусский, немецкий (и т. д.), мы имеем в виду не его структурные признаки в сравнении с признаками смежных говоров близкородственных языков, а то обстоятельство, что его носители считают себя русскими, белорусами, немцами, голландцами и т. д., иначе говоря — опираемся на их национальное самосознание, исторически сформировавшееся в составе той или иной социально-этнической общности (для эпохи средневековья — народности), сложившейся в пределах более или менее устойчивого территориально-политического объединения. И если, учитывая это, обратиться к славянским диалектам раннего средневековья, то мы не найдем оснований, чтобы определять их как диалекты того или иного славянского языка-идиома: к середине IX в. (ко времени деятельности первоучителей) это еще были близкородственные славянские диалекты «никакого» языка, характеризовавшиеся «волнообразной» непрерывностью от южных границ их распространения на Балканском п-ове до южной Прибалтики и от поречья Эльбы до верхнего течения Оки»⁴. Называть их древнеболгарскими, древнесловенскими, древнесловацкими, древнечешскими, древнерусскими и т. д. можно только с учетом их последующей судьбы, т. е. проецируя на карту распространения

⁴ Констатируя, что «отдельных славянских языков в это время еще не было» [8, с. 60], Н. С. Трубецкой и Н. Н. Дурново на рубеже 20—30 гг. определяли их как диалекты праславянского языка, окончательный распад которого они относили к эпохе после падения редуцированных. Очевидно, однако, что носители славянских диалектов задолго до деятельности первоучителей не составляли единой («праславянской») лингво-этнической общности.

славянских диалектов IX в. границы более поздних диалектных объединений в составе формирующихся средневековых народностей. Иначе говоря, диалект Солуня и его окрестностей, на который ориентировался в своей языковтворческой деятельности Константин Философ в 60-е годы IX в., не мог быть древнеболгарским: это был один из балканских (географически — македонских) славянских диалектов; так же как не древнесловенскими, древнесловацкими или древнечешскими, а паннонскими и моравскими были славянские диалекты того среднедунайского населения, среди которого в 60—80 гг. IX в. протекала деятельность славянских первоучителей. Впрочем, на диалект Солуня этническое определение *древнеболгарский* нельзя проецировать и ретроспективно: регион его распространения в состав Болгарского царства не вошел, и, следовательно, его носители не могли быть охвачены процессом формирования славяноязычной древнеболгарской народности (ср. [9])⁵.

Все это хорошо понимали средневековые книжники всех славянских народов, единодушно именовавшие письменно-литературную систему, исследуемую Р. М. Цейтлин, *словенским/славенским* языком⁶; еще в XVIII в. этим термином пользовался в России М. В. Ломоносов, а в Болгарии его современник Паясий Хилендарский (см. [12]). Терминологическое уточнение понадобилось только в XIX в., когда сравнительно-историческое языкознание стало использовать этот термин для обозначения одной из индоевропейских групп языков. В России, где *славенский* сохранил за собой лишь функцию языка православной церкви, он получил название *церковнославянский*. Палеославистика, приняв этот новый термин для обозначения локальных вариантов общеславянского средневекового книжно-литературного языка, его исходное состояние стала именовать *древнецерковнославянским* (ср. [13, с. XI]) — термином, который и сейчас является достаточно распространенным (нем. *Altkirchenslavisch*, англ. *Old Church Slavonic* и под.). К этому ряду наименований относится и принятый в восточно- и западнославянском языкознании термин *старославянский/staroslověnsky*, сохраняющий в своем составе средневековое название этого языка.

Другой ряд наименований языка кирилло-мефодиевских переводов связан с очень актуальной для языкознания XIX в., особенно младограмматического — с его центральным вниманием к истории «живых» языков, — проблемой диалектной основы старославянского языка⁷. Именно

⁵ Г. Г. Литаврин приходит к выводу, что в ту эпоху славяне на территории Византии «сознавали себя, кажется, не столько родственными жителям Болгарии поселенцами, вынужденными подчиняться властям иллирий, сколько „ромейчи“» [10].

⁶ На протяжении длительного времени *савоенский* воспринимался средневековыми славянскими книжниками разных стран как кодифицированная (книжно-литературная) разновидность родного языка (см. [2, с. 12—21]; ср. [8, с. 60]); и лишь с XVI в. начинает осознаваться его инославянское (и не обязательно древнеболгарское) происхождение (см. [14]).

⁷ Создается впечатление, что многие современные исследователи, обращаясь к палеославистической традиции, не учитывают того, что на протяжении XIX в. и вплоть до начала 20-х годов нашего столетия старославянский язык представлял интерес как материал для сравнительно-исторических реконструкций, т. е. как самая ранняя фиксация славянской речи (ср. [14, с. 53]). Против этого решительно выступили члены Пражского лингвистического кружка, которые, учитывая общеславянскую литературную функцию старославянского языка, предупреждали, что «было бы методологически неверно считать этот язык одним из живых славянских языков X—XII вв. и изучать его с позиций исторической диалектологии» [4, с. 32]. Обоснованию принципиально нового подхода к изучению старославянского языка посвящены работы Н. С. Трубецкого (см. [8]) и Н. Н. Дурново (см., например, [15]) и развернувшуюся вокруг этой статьи полемику между Н. Н. Дурново и С. М. Куль-

в таком контексте и появляются обозначения типа *древнесловенский* (*altslovenisch*), *паннонско-словенский* (*pannono-slovenisch*) и под., включая и *древнеболгарский*, которому отдавали предпочтение некоторые сторонники локализации диалектной основы в восточной (а не западной) группе южнославянских говоров. А. Лескин признавался, что термины типа «(древне)церковнославянский» (как и «старославянский») его не устраивают только потому, что «не содержат указания на народ и страну» (явная недооценка общеславянской сущности созданного первоучителями книжно-литературного языка!); а термины типа «(панноно-)словенский» привязывают язык первых переводов к западославянской группе, в то время как сам А. Лескин защищал его принадлежность к южнославянским языкам, что и заставляло его предпочесть наименование «древнеболгарский», хотя он и предупреждал, что оно не имеет исторического оправдания («Diese Bezeichnung hat keine historische Berechtigung» [13, с. X—XI]), и, видимо, поэтому включил его в заглавие своего труда наряду с термином «древнецерковнославянский» [см., начиная с 1-го издания 1871 г., когда полемика о диалектной основе старославянского языка была в самом разгаре: *Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache*; конец этой полемики, как известно, был положен изданием в 1896 г. знаменитой работы В. Облака «*Macedonische Studien*» (Wien)].

Впрочем, в связи с исследовательскими интересами Р. М. Цейтлин нельзя не отметить, что диалектная основа языка кирилло-мефодиевских переводов менее всего обнаруживает себя в лексике: она проявляется в фонетике и в морфологии, которые в эпоху деятельности первоучителей были по говорам достаточно однообразны, но в редких случаях диалектной дифференциации указывают либо на балканские славянские говоры вообще (как, скажем, открытый [æ] и под.), либо на говоры Македонии, а не собственно Болгарии. Так, к примеру, нет сомнений, что Константин ориентировался на диалект, в котором сослагательное наклонение образовывалось с *бимь*, *би* — *бж* (в Зогр. и Мар. ев. на 56 и 97 случаев употребления этой формы образования с аористом *быхъ*, *бы* — *бышл*, отмечены соответственно 1 и 2 раза); между тем в кириллических древнеболгарских рукописях они являются лишь «статками» первоначальной морфологической системы: в Сав. кн. на 36 форм сослагательного наклонения с аористом приходится 6 образований с *бимь*, *би...*, а в Супр. на 127 примеров с аористом — 17 образований с *бимь* (и т. д.), соответствующих наблюдениям Р. М. Цейтлин относительно особенностей словоупотребления в этом памятнике, где «в цитатах из евангелия сохраняется простой стиль евангелия» (ЛДБР, с. 292) (вместе с архаическими формами!) — в отличие от житий и гомилий, включая те места, «в которых развиваются и свободно излагаются евангельские темы» (ЛДБР, с. 293).

Что же касается лексики, то, по подсчетам А. С. Львова, около 50% слов, извлекаемых из древнеславянских памятников, не связаны с живыми славянскими говорами (что для книжно-литературного языка нормально и в более поздние эпохи — ср. [2, с. 29—33]) и являются грецизмами оригиналов или (значительно чаще) книжными новообразованиями переводчиков, использовавших славянские корни и

бакинью); а опыты конкретных исследований, учитывающих генезис и многовековую историю старославянского (древнеславянского) как общеславянского литературного языка эпохи средневековья, относятся лишь к началу 60-х годов (см. [14] и последующие работы Н. И. Толстого).

словообразовательные средства [16]. Понятно, что в основной своей массе этот слой лексики, наиболее характерный для древнеславянских текстов и представленный большим числом суффиксальных образований со значением лица (ЛДБР, с. 139—176) и отвлеченных понятий (ЛДБР, с. 176—206), а также двукорневых (и более) сложных (ЛДБР, с. 207—285), не может определяться как «древнеболгарский»: эти образования (за редкими исключениями) обязаны словотворчеству первых переводчиков и постоянно пополнялись новообразованиями по их образцам. Утверждение, будто они «в славянских языках (преимущественно литературных) являются заимствованиями» (тем более — «из древнеболгарского языка!» — ЛДБР, с. 207), мне представляется искажением реальной истории функционирования общеславянского книжно-литературного языка (хотя оно довольно распространено): правильное было бы говорить в этих случаях о литературно-языковой приемственности, а не о заимствованиях.

Остальная часть древнеславянского словаря, охватывающая обозначения бытовых реалий, конкретных качеств, отношений и действий, а также служебные слова, представлена по преимуществу лексикой общеславянской (это основная масса слов, рассматриваемых в разделе «Корневые группы» — ЛДБР, с. 96—114). Диалектно ограниченная лексика в исследованных текстах составляет не более 10% всего их словарного состава и не связана с каким-либо одним раннеславянским диалектным ареалом; при этом слова, восходящие к разным славянским диалектам, характеризуют все рукописи — независимо от места их создания. Особенно показательны в этом отношении так называемые моравизмы (или панноно-моравизмы), которые в равной степени характеризуют как глаголические рукописи, обычно связываемые с Охридской школой, непосредственно наследовавшей кирилло-мефодиевские традиции (ср. ЛДБР, с. 72), так и собственно древнеболгарские кириллические рукописи, восходящие к Преславской школе, а также древнерусские (того же XI в.) и древнесербские памятники, в том числе и достаточно поздние по времени создания. Этот факт свидетельствует о том, что авторитет книжно-литературного языка, сформировавшегося в период деятельности славянских первоучителей среди подунайских славян, сохранялся и после того, как он вышел за пределы их епархии и стал распространяться в древней Болгарии и других странах *Slavia orthodoxa*.

Наблюдения над словоупотреблением в 17 рукописях X—XI вв. различного содержания позволили Р. М. Цейтлин предложить их группировку, в целом совпадающую с характеристиками, наметившимися в результате наблюдений над орфографией и морфологией тех же текстов. Одну (более архаичную по языку) группу составляют глаголические евангельские кодексы (Зогр., Мар. и Ассем.), куда, по мнению автора, «при всем своем лексическом своеобразии и вопреки утвердившемуся мнению, все же входит...» и кириллический евангельский текст Сав. кн. (ЛСЯ, с. 291; ЛДРБ, с. 294); ярким представителем другой группы является кириллическая Супр. рук. (ЛСЯ, с. 290—291; ЛДБР, с. 293—294). Именно для памятников, представляемых Супр., «характерно обилие мотивированных слов со значением лица и с отвлеченными значениями продуктивных моделей образования — с формантами *-ъникъ*, *-тель*, *-ъць*; *-ство*, *-ость*, *-ота*. Эти рукописи отличает наличие значительного количества сложных слов различной структуры и функций...», обилие прилагательных (и т. п.); им противостоит «простой стиль языка евангелия, в частности умеренное употребление эпитетов, композит», а также некоторые

гебраизмы и исчезающие впоследствии грецизмы (ЛСЯ, с. 288—289; ЛДБР, с. 291—292). С учетом этих наблюдений конечный вывод Р. М. Цейтлина, сводящийся к тому, что «лексическое своеобразие отдельных рукописей СЯ и их групп связано с их принадлежностью к разным территориальным диалектам и различным культурным центрам (школам письменности)» (ЛСЯ, с. 291), можно принять, но с уточнением, что школы книжности определяют особенности словопотребления, которые для специфически книжной лексики не могут иметь соответствий в диалектной речи; «принадлежностью к разным территориальным диалектам» обуславливаются орфографические (традиционно — «фонетические», а также морфологические) различия между славянскими рукописями конца X—XI в.: ж = ou (Мар.ев.) или ж = ъ (Ев.ап.); ѣ = <ѣ> и <'а> (Сав.кн.) или ѣ ∞ ѧ (Остр.ев.) и т. п. Только учитывая это уточнение, можно признать, что вывод, как он сформулирован в первом издании, концентрированно характеризует реальную историю старославянского языка, заключающуюся в сложении местных церковнославянских изводов.

В новом издании, где СЯ (старославянский язык) последовательно заменяется на ДЯ (древнеболгарский язык), тот же вывод приобретает совершенно абсурдный смысл: «Лексическое своеобразие отдельных манускриптов ДЯ и их групп связано с их принадлежностью к разным диалектам ДЯ и к различным культурным центрам (школам письменности)...» (ЛДБР, с. 294). Какие же особенности «разных диалектов древнеболгарского (!) языка» определяют нарастание типично книжных многоморфемных образований с отвлеченными значениями (см. ЛДБР, с. 292—294), никогда в диалектной речи не встречающихся? Перед нами пример того, как терминологическая неразборчивость независимо от авторской воли ведет к искажению результатов объективно ценных наблюдений и к отступлению от строго научной интерпретации фактов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хабургаев Г. А. Специфика объектов науки о языке (методологический аспект) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1985. № 5.
2. Хабургаев Г. А. Старославянский — церковнославянский — русский литературный // История русского языка в древнейший период. Вопросы русского языкознания. Вып. 5. М., 1984.
3. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
4. Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
5. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952. С. 9.
6. Німчук В. В. Київські глаголичні листки — найдавніша пам'ятка слов'янської писемності. Київ, 1983.
7. Lunt H. G. On dating Old Church Slavonic gospel manuscripts // South Slavonic and Balkan Linguistics. Rodopi, 1982. P. 224.
8. Грубейко Н. С. К проблеме русского самопознания. Собрание статей. [Париж], 1927.]
9. Живов В. М. Проблемы формирования русской редакции церковнославянского языка на начальном этапе (По поводу книги И. Тота «Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI — начале XII вв.». София, 1985, 358 с.) // ВЯ. 1987. № 1. С. 53—54.
10. Литаврин Г. Г. Народы Балканского полуострова в составе Византийской империи в XI—XII вв. // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981. С. 173.
11. Толстой Н. И. Старинные представления о народно-языковой базе древнеславянского литературного языка (XVI—XVII вв.) // Вопросы русского языкознания. Вып. 1. М., 1976.

12. *Паисий Хилендарски*. История славяноболгарская. 1762. Първи Софрониев препис от 1765 година. Юбилейно фототипно издание, посветено на 250 годишнината от рождението на Паисий Хилендарски. София, 1972, Лл. 8б — 9а.
13. *Leskien A.* Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache, Heidelberg, 1919.— Цит. по: *Лескин А.* Старобългарска граматика (фототипно издание). София, 1981.
14. *Толстой Н. И.* К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян // ВЯ. 1961. № 1.
15. *Дурново Н. Н.* Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов // *Byzantinoslavica*. Roč. 1. Praha, 1929.
16. *Хабургаев Г. А.* Старославянский язык. 2-е изд. М., 1986. С. 109—129.